

## ГИГАНТСКОЕ ЗДАНИЕ СТРАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ<sup>5</sup>

**Интервью с Чеславом Милошем**  
**6 октября 1990, Лондон**

— Бродский вспоминает, как вскоре после приезда в Америку он получил от вас письмо, в котором вы весьма своевременно, как он выразился, предупредили его, что многие не в состоянии заниматься своим творчеством вне стен отечества, добавив, что „если это с Вами случится, что же, вот это и будет Ваша красная цена“<sup>6</sup>. Почему вы считали необходимым послать ему столь суровое предупреждение?

— Я помню это письмо. Он процитировал его не полностью. Я там говорил о первом и самом тяжелом периоде изгнания, который он должен перетерпеть, что потом будет легче. Это также был привет и некоторая поддержка.

— Позже в своей рецензии на его сборник „Часть речи“ вы писали: „Бродский осуществляет то, чего предыдущие поколения русских писателей-эмигрантов не смогли достигнуть: превращает землю изгнания по необходимости в собственную, осваивает ее при помощи поэтического слова“<sup>7</sup>. Где, по-вашему, Бродский нашел силы для столь обширной поэтической экспансии?

— Я не знаю, успех его удивительный. Раньше русские писатели-эмигранты жили в каком-то автономном мире. Некоторые из них писали очень хорошие вещи, Бунин, например, но и он жил в своем собственном мире. Бродский действительно захватил территорию и Америки, и вообще Запада, как культурный путешественник, возьмите его стихи о Мексике, о Вашингтоне, о Лондоне, его итальянские стихи. Вся цивилизация XX века существует в его поэтических образах. Я это объясняю влиянием архитектуры Ленинграда [Смеется].

— Средство исцеления от „тоски по мировой культуре“?

— Да, может быть. Я должен сказать вам, что дружба с Бродским мне очень приятна и очень важна для меня, как и моя дружба с литовским поэтом Томасом Венцловой. Мы, три поэта, сделали больше, чем политики, потому что мы установили дружбу между нашими народами.

— Вы знаете поэзию Бродского и в оригинале, и в английских переводах. По мнению некоторых английских и американских поэтов, знающих русский язык, даже лучшие английские переводы стихов Бродского не приближаются к оригиналам, тем более не заменяют их<sup>8</sup>. Как много, на ваш взгляд, Бродский теряет в английских переводах?

— Я должен признаться, что мне трудно читать поэзию Бродского в оригинале, потому что у него есть много слов, которых я просто не знаю. Его лингвистический подвиг состоит в том, что он приручает современную терминологию. Что касается переводов, я думаю, что вообще русскую поэзию трудно переводить на западные языки. Посмотрите, что остается от

Пушкина. Почему? Потому что русская поэзия очень сильно акцентована, в ней очень сильный ямбический ток. Этим она отличается от польской поэзии, которая прекрасно обходится и без метра, и без рифм. Но русский язык тянет в ритмический поток. И когда вы слушаете, как Бродский читает свои стихи, вы понимаете, что они теряют в переводе.

— По мнению Бродского, метр и точные рифмы помогают оформить беспокоящие нас мысли куда более функционально, чем верлибр, потому что „в первом случае читатель чувствует, что хаос организован, тогда как в последнем — смысл зависит от хаоса и им детерминирован“<sup>9</sup>. У вас можно найти аналогичное высказывание о том, что форма — это постоянное сражение с хаосом и с ничто<sup>10</sup>. Не противоречит ли оно только что сказанному вами?

— Но форма в поэзии — не обязательно означает пользование метром и рифмой. Ранняя моя поэзия была более ритмическая в традиционном смысле этого слова. Например, во время войны я написал много таких стихов, в них встречаются иногда просто детские рифмы. Но в них действительно было намерение борьбы против хаоса. Потом я нашел другие формы. Конечно, я не верю, что существует такая вещь, как free verse, потому что в стихах всегда есть ритмическая структура, но она более сложная.

— Позаимствовал ли Бродский что-либо из польской поэтической традиции, учитывая, что он переводил Галчинского, Херберта, Норвида, и о своем поколении 60-х годов он сказал: „Нам требовалось окно в Европу, и польский язык такое окно открыл“<sup>11</sup>, имея в виду, что он впервые читал Пруста, Фолкнера и Джойса в польских переводах?

— Я не знаю, но когда я читал его „Post aetatem nostram“ [К:85-97/П:245-54], я думал о Норвиде, у которого есть поэма „Quidam“, действие ее происходит в Риме во времена, я думаю, Адриана. Это анализ той ситуации: восстание в Палестине, в Риме евреи, греки, первые христиане. Очень сложная картина, но не сатирическая, как у Бродского. Вообще, что меня очень интересует у Бродского, это классические темы. Конечно, они всегда существовали в русской поэзии, у Мандельштама, например, но у Бродского они, кажется, доминируют, начиная со стихов „К Ликомеду на Скирос“ [О:92-93/П:48-49], „Эней и Дидона“ [О:99/П:163], потом „Римские элегии“ [У:111-17/Ш:43-48], эклоги и т.д.

— Чем вы объясняете его частые путешествия в античный мир?

— Если бы вы спросили Бродского, он, вероятно, ответил бы: „Это классический Петербург.“

— Расширил ли Бродский лингвистическое поле русской поэзии, в частности, за счет пересаживания на русскую почву поэтики английского концептизма?

— Конечно, расширил. Вообще континентальной Европе английская поэзия была знакома, но все-таки культурное влияние Англии и Америки было слабым в сравнении с французским влиянием. Французский язык был языком интеллигенции. Я из своего опыта помню, что влияние французского языка длилось еще во время моей юности. Английский начали изучать в Варшаве в конце тридцатых годов. Теперь, когда вы путешествуете в нашей части Европы, по Югославии, Венгрии, Польше, Чехословакии, вы замечаете, что молодое поколение знает английский и не знает фран-

цузского языка. И это симптоматично. Россия была отрезана от англосаксонского мира революцией и ее последствиями. И Бродский был первым, кто открыл этот мир. Я часто говорю, что это просто парадокс: когда Т.С.Элиот умер, никто из западных поэтов не написал стихотворения, посвященного его памяти, это сделал только русский поэт.

— Его „Стихи на смерть Т.С. Элиота“ [О:139-41/І:411-13], в сущности, тройной *hotstage*: Элиоту, Огону и Йейтсу в силу их формы и аллюзий.

— Да, да.

— Бродский однажды сказал: „Возникни сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить только с одним языком, то ли с английским, то ли с русским, даже с русским, то это меня чрезвычайно, мягко говоря, расстроило бы, если бы не свело с ума“<sup>12</sup>. Переживали ли вы нечто похожее в вашей двуязычной, а точнее, многоязычной ситуации? Насколько бы вам неоставало английского языка, если бы вы его неожиданно лишились?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, я не знаю. Я начал переводить английских и американских поэтов очень рано, в 1945 году, во время сталинизма, потому что они были запрещены. Потом, после 1956 года, когда произошла либерализация в Польше, все бросились переводить с английского, и я тогда решил, пусть другие это делают, и прекратил этим заниматься.

— Значит ли это, что вы, приехав в Америку, могли переводить на английский свои собственные стихи?

— Я тогда владел английским не настолько хорошо, чтобы переводить свои стихи на английский. Я долго думал, что моя поэзия непереводаема. Я начал переводить других польских поэтов, и только постепенно я перешел к переводу своей поэзии на английский. Но я всегда перевожу вместе со своими американскими друзьями, Робертом Хассом (Robert Hass) и Робертом Пински (Robert Pinsky), которые поправляют мои варианты.

— Я недавно сравнивала английские переводы ваших стихов с переводами на русский, сделанными Горбаневской и Бродским, и заметила удивительные совпадения, лексические, образные...

— А вы знаете перевод Горбаневской моего „Поэтического трактата“?<sup>13</sup>

— Конечно, более того, я заметила, как часто Бродский с вами переключается, начиная с названия его третьего сборника „Конец прекрасной эпохи“, до незакавыченных цитат из ваших стихов, например, у вас о Норвиде:

В своих стихах, подобных завещанью,  
Отчизну он сравнил со Святовидом.

и у Бродского в „Литовском дивертисменте“:

...И статуя певца,  
отечество сравнившего с подругой [К:102/І:266].

— Я этого не знаю.

— Критики Бродского, да и он сам, отмечают эмоциональную нейтральность его стихов, столь нехарактерную, почти неприемлемую для

русской традиции. Что заставляет Бродского выталкивать эмоции из стихотворения? Или, говоря вашими стихами, „от сильных чувств поэзия смолкает“<sup>14</sup>?

— Я думаю, что в поэзии всегда много хитростей. В нашем столетии хочется кричать, потому что слишком много страшных вещей происходило и происходит. Но спокойный тон, конечно, предпочтительней. У меня есть строчка „I haven't learned yet to speak as I should, calmly“ („Я еще не научился говорить так, как надо, спокойно“)<sup>15</sup>. Бродский, вероятно, научился говорить спокойно.

— Как известно, русская литература всегда обсуждала философские, религиозные и этические проблемы. В какой степени Бродский остается верен этой традиции?

— Я уже писал об этом. Он мне близок еще и потому, что мы очень чтим одного философа — Льва Шестова<sup>16</sup>. Мне очень нравится то, что Шестов сказал о русской традиции социального оптимизма у Толстого, о вере в то, что по мере прогресса человек станет лучше<sup>17</sup>. И Шестов, и Бродский выступают против этой традиции.

— Вы определили одну из волнующих вас проблем как „зло мира, боль, муки живых существ как аргумент против Бога“<sup>18</sup>. Шестов написал на эту тему целую книгу, „На весах Иова“. Можно ли отыскать у вас с ним общую стратегию защиты веры в наш век безверия?

— Думаю, что да. Шестов был врагом стоицизма. Он говорил, что вся философия Запада и христианство согласились, что мир так устроен, и ничего не поделаешь, надо улыбаться. Он говорил: „А я не признаю этого“. У него была идея полной свободы Бога. Говорят, что Бог есть любовь. Но кто это знает? Может быть, Бог вовсе не любовь. Он делает, что хочет, у Него нет никаких пределов. И в этом смысле у Шестова есть крик Иова. Конечно, Шестов — это писатель Ветхого Завета. Даже его книга „Афины и Иерусалим“ — это сопротивление.

— А ваша стратегия? Бродский назвал вас Иовом, кричащим не о личной трагедии, а о трагедии самого существования<sup>19</sup>.

— Может быть, у меня немножко другая стратегия, потому что я испытал влияние другого философа нашего столетия — Симоны Вайль. Она верит, что Бог есть любовь, но Бог находится на большом расстоянии от мира, и Бог оставил весь мир князю этого мира и инертной материи. Таким образом, есть две стратегии, и обе исходят из очень острого ощущения присутствия зла в этом мире.

— Клеменс Поженцкий считает, что „главная тема творчества Бродского — зло. Поскольку он писатель глубоко религиозный и исторические события воспринимает в метафизических категориях, он, в согласии с традицией православия, рассматривает зло как отсутствие, пустоту, некий минус или ноль“<sup>20</sup>. Как вам видится суть творчества Бродского?

— Бродский принадлежит к тем поэтам, которым на удивление удалось сохранить традицию христианства и классическую традицию. Может быть, чтобы писать стихи в XX веке, надо верить в Бога. Западная поэзия, начиная с Малларме, потеряла эту веру, это — самостоятельное искусство. Я думаю, что Бродский, да и я тоже, мы сохраняем священное приятие мира.

— В свое время вы жаловались, что не нашли у Пастернака философской альтернативы официальной советской доктрине<sup>21</sup>. Какую альтернативу предлагаете вы?

— В этом была сила Пастернака, потому что иначе бы он погиб. Я думаю, что моя поэзия в последние годы становится более и более метафизической. Но, знаете, давать ответ — не дело поэта. Какая программа, например, у Бродского в стихах „Бабочка“ [Ч:32-38/П:294-98] или „Муха“ [У:163-72/Ш:99-107]?

— В них нет программы, но в них содержатся мысли о волнующих его проблемах: вере и поэзии, языке и времени, о жизни и ничто. Говоря вашими словами, в „Бабочке“ Бродский „воссоздал, переосмыслил и обогатил английскую метафизическую школу XVII века“. Вы также определили одну из его магистральных тем как „человек против пространства и времени“<sup>22</sup>. Согласитесь, эта тема стара, как мир. Обновил ли ее Бродский?

— Трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что поэзия принадлежит традиции литературы данного языка. Думаю, что вы лучше меня знаете, что такое Бродский в традиции русской литературы.

— Кажется, до него никто не был так поглощен категорией времени.

— Я должен вам сказать, что некоторое время назад вышла книга стихов Бродского по-польски с моим предисловием<sup>23</sup>. У нас есть блестящий переводчик — профессор Баранчак. Я завидую Бродскому, потому что его изобретательность в области рифм непревзойденная. Мне очень трудно писать в рифму, а Баранчак переводит Бродского на польский, сохраняя его систему рифм.

— Несмотря на сопротивление польского языка? И это не банальные рифмы?

— Нет, нет. Это просто удивительно. И эта книга Бродского на польском языке очень странная, потому что она расходится с традицией польской поэзии. Нечто аналогичное произошло и с моим „Поэтическим трактатом“, я говорил об этом с Горбаневской, в русском переводе он не совпадает с русской поэтической традицией.

— Мне хотелось бы вернуться к философской стороне вашей поэзии и поэзии Бродского. О своих стихах вы говорите, что они похожи на „интеллектуальный балет“<sup>24</sup>, а стихотворения Бродского, написанные в форме путешествий, вы назвали „философским дневником в стихах“<sup>25</sup>. Насколько успешно Бродский соединяет философию и поэзию? Не рвется ли поэтическая ткань от тех философских абстракций, которыми иногда изобилуют стихи Бродского?

— Я думаю, что Бродский делает это успешнее многих западных поэтов. Я сам очень старался двигаться против распространенных течений в современной западной поэзии. И в этом смысле мою поэзию нельзя назвать западной, она скорее ей противостоит. И здесь мы с Бродским соратники.

— Вы как бы строите мост между славянской и западной поэтическими традициями?

— Да. Западная поэзия движется к субъективизму, чреватому серьезными последствиями. В русской традиции, конечно, есть традиция автобиографической поэзии, это старая традиция. И у Бродского много автобиографических стихов, но он стремится к объективности, возьмите

все его описания городов, исторических ситуаций, например, в „Колыбельной Трескового Мыса“ [Ч:97-110/II:355-65] весьма ощутимо его усиление объективации двух империй. И это сделано в противовес основным западным тенденциям.

— Бродский, назвав Кавафиса „духовным экстремистом“ [L:67/IV:176], заявил однажды, что и „Христа недостаточно, и Фрейда, и Маркса, и экзистенциалистов, и Будды мало“<sup>26</sup>. Не свойственен ли самому Бродскому духовный и интеллектуальный экстремизм?

— Может быть, может быть. Это очень русская черта.

— Согласны ли вы с Бродским, который считает, что „поэзия гарантирует гораздо большее чувство беспредельного, чем любая вера“?<sup>27</sup>

— Нет, с этим положением я не согласен. Я не приписываю поэзии такой важной функции, какую ей приписывает Бродский.

— Язык и время — еще одна дихотомия в поэтическом мире Бродского. Он как-то сказал: „Если существует божественное, это прежде всего язык“<sup>28</sup>. Почему он возносит язык на такие метафизические высоты?

— В наше время язык выдвинут западными профессорами во главу угла. Они отменяют все и оставляют только язык, который, якобы, говорит сам за себя и за нас. Это все-таки нигилизм, онтологический нигилизм. Любые поиски истины для них — метафизическая глупость. Для деконструктивистов и прагматиков язык — мастер, язык — все, и все — язык. Но у Бродского нечто иное.

— Да, хотя Бродский постоянно утверждает, что писатель — слуга языка и орудие языка<sup>29</sup>, он при этом неустанно подчеркивает божественную природу языка: „Язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся в положении детей, получивших дар. Дар, как правило, всегда меньше Дарителя, и это указывает нам на природу языка“<sup>30</sup>.

— Бродский совсем не похож на тех профессоров и поэтов, для которых язык — это автономная сфера. У него нет лингвистических экспериментов ради экспериментов. Для него язык — конфронтация с миром.

— ...и с временем. Не потому ли он был так потрясен строчками Одена: „Время... / преклоняется перед языком и прощает его служителей“ [L:362-63]<sup>31</sup>? У вас есть сходная мысль:

Я всего лишь слуга незримого —  
Того, что диктует мне и еще кому-то.

Можно ли усмотреть аналогию между вами как „слугой незримого“ и Бродским как „слугой языка“?

— Я думаю, можно. В любой данный момент, когда поэт появляется на сцене своего родного языка, существует ряд возможностей, которые поэтом должны быть исследованы и усвоены. Он не свободен выйти слишком далеко за пределы этих возможностей. Я говорил об этом с Бродским, спрашивал его, почему существуют такие тенденции в современной русской поэзии, а не иные. По его мнению, непрерывность, которая была прервана революцией, должна быть восстановлена. В этом смысле Бродский осознает свое место, он не может и не хочет двигаться в другом направлении, он пытается сохранить преемственность русской поэтической традиции.

— Почему, вы думаете, польский язык избрал именно вас быть своим „секретарем“, своим медумом в XX веке, вопреки тому, что вы прожили среди поляков меньшую часть вашей жизни?

— Я не могу логически объяснить то, что называется судьбой.

— В „Звезде Польнь“ вы пишете: „Вот так-то исполнилась моя молитва гимназиста, вскормленного на польских поэтах: просьба о величии, а значит, об изгнании“<sup>32</sup>. Почему вы соединили величие с изгнанием?

— В польской поэзии существует настоящий миф изгнания, примеры тому — судьбы Мицкевича, Словацкого, Норвида.

— Вы признались в трудности отождествления со средой, в которой Вы живете<sup>33</sup>. Для Бродского же, по его собственным словам, „всякая новая страна, в конечном счете, лишь продолжение пространства“<sup>34</sup>. Но на более глубоком уровне, мне кажется, вы с Бродским переключаетесь. Он считает, что с каждой новой строчкой, с каждой последующей мыслью поэта в изгнании отходит все дальше и дальше от берега родной земли. И, в конечном счете, он остается один на один со своим языком. Это и есть его „иная земля“. Он даже образовал английский неологизм: „This is his Otherland“<sup>35</sup>. У вас в „Поэтическом трактате“ есть аналогичная мысль: „... только речь — отчизна“<sup>36</sup>.

— Это, по-моему, заявление гордеца, хотя, мне кажется, я менее страдаю от гордости, чем Бродский. Я всегда чувствовал ограниченность и поэзии, и языка, ощущал несоизмеримость между миром и словом. Все, что поэт может делать, это только пытаться, стараться что-то выразить. Бродский, как я уже сказал, наделяет литературу слишком большой ответственностью. Одних это восхищает, других раздражает.

— А разве вы не верите в спасительную роль поэзии? В „Посвящении“ к сборнику „Спасение“ вы пишете:

В неумелых попытках пера добиться  
стихотворенья, в стремлении строчек к недостижимой цели, —  
в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье. [Ш:294]<sup>37</sup>

— Не знаю, спасение ли, но поэзия действительно может быть защитой от отчаяния, от убожества существования.

— Во вступлении к „Поэтическому трактату“ можно прочитать:

Как будто автор с умыслом неясным  
В них обращался к худшему в себе,  
Изгнавши мысль и обманувши мысль.

Это что, скрытая ирония или упражнение в самоусовершенствовании средствами поэзии?

— Здесь я, скорее всего, говорю о разнице между поэзией и прозой в нашем столетии. Поэзия XX века все дальше уходит от относительной рациональности прозы, все чаще эксплуатирует очень субъективные ситуации, подсознание человека. В этих стихах также выражено желание восстановить философское содержание поэзии. И здесь опять мы с Бродским сходимся и расходимся с некоторыми поэтами-модернистами.

— В своей лекции о вашем творчестве Бродский сказал: „Ему свойственен катастрофический, почти апокалиптический склад ума“<sup>38</sup>. И дей-

ствительно, в молодости вы руководили поэтической группой „Катастрофисты“. Вы осознаете, что вам присущ такой склад ума?

— Пожалуй, да. Он приближает меня к славянскому типу мышления, ибо это склад ума Соловьева, Достоевского и других. И, конечно, существует польский вариант того же самого. Похоже, Бродский прав, но я не очень этим горжусь.

— В некоторых ваших стихах доминирует чувство вины. Это потому, что вы выжили, или потому, что вы не пережили все послевоенные страдания Литвы и Польши? И следует ли из этого, что чувство вины — это ваш комплекс Квазимода, который, по мнению Цветаевой, должен иметь каждый поэт?

— Я не уверен, что каждый поэт должен страдать таким комплексом. Я знаю, что у меня есть комплекс вины. Я не думаю, что его нужно объяснять историческими событиями, я думаю, что его корни следует искать глубже, в моем случае — чувством судьбы, чувством рока, и появилось это чувство очень рано, почти в школьные годы. Мой друг Адам Михник недавно в разговоре со мной сказал: „Мне нравится твоя поэзия, потому что она кровоточит. Она также демонстрирует, что рана может стать источником силы“. Может быть, литература вообще и поэзия в частности вырастают из раны. Надо только преодолеть боль.

— Бродский взял эпиграфом к сборнику своей прозы „Меньше, чем единица“ строку из вашей „Элегии к N.N.“: „And the heart doesn't die when one thinks it should“<sup>39</sup>. В переводе Бродского она звучит следующим образом: „И как сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться“ [III:292]<sup>40</sup>. Не могли бы вы пояснить этот стих?

— Здесь я описал очень конкретную ситуацию очень близкого мне человека. Ее сын был отправлен в немецкий концлагерь на смерть, но она продолжала жить. Этот опыт пережили и миллионы русских при сталинизме. У меня есть русская знакомая, ее муж был арестован во время чисток. У нее был ребенок, она никому не могла показать, что случилось что-то страшное.

— Бродский как-то заметил, что „вам доставляет почти чувственное удовольствие сказать 'нет'“<sup>41</sup>. Это правда?

— Боюсь, что правда [Смеется]. Но дело обстоит сложнее. Я назвал себя „экстатическим пессимистом“. Шопенгауэр, на мой взгляд, создал самую лучшую теорию литературы, искусства, объективную, как голландские натюрморты. Я стараюсь ее практиковать.

— И вы, и Бродский широко пользуетесь категорией отрицания в ваших стихах. Какова их функция?

— Я человек противоречивый. Я не могу представить себя как цельную личность. Меня постоянно разрывают противоречия.

— Не потому ли ваша поэзия так трудна, и суть ее так грязнище неуловима для читателя? Не могли бы вы подсказать какие-то пути ее адекватного прочтения?

— Да, моим читателям нелегко, они не могут понять, почему я так часто меняю свою точку зрения, свои мнения. Я недавно показал своему чешскому другу два стихотворения. Содержание одного из них полностью противоречило тому, что говорится в другом. Я спросил его, стоит ли их

публиковать, ведь они исключают друг друга. Он ответил: „Конечно, поскольку это так характерно для тебя, но постарайся поместить их рядом и напиши к ним краткий комментарий“. Мои стихи очень иронические, в них много аллюзий к польской поэзии XVI, XVII, XVIII веков.

— *Вы, в сущности, младший современник Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой. Как рано вы познакомились с их поэзией?*

— Как это ни странно, я не был большим читателем русской поэзии, русской литературы. Я получил от своего друга году в 1934-м книжку Пастернака „Второе рождение“. Я не понял, что „второе рождение“ — это аллюзия. Мне его стихи очень понравились. Между прочим, поэт Коржавин сказал кому-то, что он возлагает ответственность именно на эту книгу Пастернака за свое обращение в сталинизм, потому что в ней столько красоты и счастья. О Мандельштаме я узнал очень поздно. Я не думаю, что русская поэзия влияла на меня очень сильно. Я пережил влияние французской поэзии.

— *И английской?*

— Да, но в меньшей степени, потому что французское влияние пришлось на годы моего становления.

— *По вашему мнению, „поэт, прежде чем он будет готов поговорить к вечным вопросам, должен следовать определенному непреложному кодексу. Он должен быть богобоязненным, любить свою страну и свой родной язык, полагаться на свою совесть, избегать союза с дьяволом и опираться на традицию“*<sup>42</sup>. Отвечает ли Бродский всем этим требованиям?

— Да, безусловно. Я уже сказал, что, может быть, на фоне западной поэзии мы в арьергарде, Бродский и я, но, может быть, и в авангарде. Это никогда не известно, потому что если поэты сильно действуют, то они меняют направление поэзии.

— *Как вам видится сегодня это „гигантское, странной архитектуры, [...] здание поэзии Бродского“*<sup>43</sup>?

— Для меня архитектура — ключ к поэзии Бродского. Он постоянно возвращается к Петербургу. Он сам это подчеркивает в прозе. Контраст особенно разителен в сравнении с Беккетом, для которого архитектура нейтральна, у Бродского она очень важна. Возьмите, например, его пьесу „Мрамор“, это очень беккетовская пьеса, с той существенной разницей, что местом действия избран древний Рим, доминируют классические мотивы и играет архитектурное воображение. Бродский — поэт сложного культурного наследия, он использует темы Библии, Гомера, Вергилия, Данте, английских метафизиков и древнерусской литературы. Классические темы делают его поэтическое здание гигантским, но ими подчеркнуто единство европейской культуры. Бродский, я думаю, не страдает ни комплексом неполноценности, ни комплексом превосходства по отношению к Западу.

— *Вы однажды сказали, что не соответствуете американскому представлению о поэте*<sup>44</sup>. Соответствует ли ему Бродский?

— Не думаю, потому что в американском представлении поэт должен быть алкоголиком, пережить пару нервных срывов, несколько попыток к самоубийству, посещать психоаналитика и т.д. Давайте закончим на этой юмористической ноте.

— Насколько я знаю, у вас нет стихотворения, посвященного Бродскому. Можно ли мне взять для этого сборника ваших „Секретарей“<sup>45</sup>, стихотворение о поэте вообще?

— Да, уж так получилось, что у меня действительно нет стихотворения, написанного специально для Бродского. Если вам так нравятся „Секретари“, пожалуйста, берите.

### SEKRETARZE

Sługa ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy,  
Która jest dyktowana mnie i kilku innym.  
Sekretarze, nawzajem nieznani, po ziemi chodzimy,  
Niewiele rozumiejąc. Zaczynając w połowie zdania,  
Urywając inne przed kropką. A jaka złożą się całość  
Nie nam dochodzić, bo nikt z nas jej nie odczyta.

1975

### СЕКРЕТАРИ

Я всего лишь слуга незримого —  
Того, что диктует мне и еще кому-то.  
Секретари, мы бродим по свету, не зная друг о друге,  
Понимая так мало. Начиная с середины фразы,  
Обрывая речь на полуслове. А какое сложится целое,  
Не нам понять — ведь никто из нас его не прочтет.

*Перевел с польского Андрей Базилевский*

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Иосиф Бродский, „Поэзия как форма сопротивления реальности“, предисловие к сборнику стихотворений Томаса Венцловы на польском языке в переводах Станислава Баранчака („Русская мысль“, 25 мая 1990, Специальное приложение, С. XII).
- <sup>2</sup> Иосиф Бродский, „Сын века“, пер. с английского Льва Штерна („Новый американец“, 9-14 октября 1980, С. 7).
- <sup>3</sup> Станислав Баранчак, „Переводя Бродского“ („Континент“, No. 19, 1979, С. 358). Перепечатано в кн. „Поэтика Бродского“ (Hermitage: Tenafly, N.J., 1986, С. 239-51).
- <sup>4</sup> Чеслав Милош, интервью, данное Виктору Соколову после награждения Нобелевской премией („Континент“, No. 26, 1980, С. 436).
- <sup>5</sup> Опубликовано: „Памяти Иосифа Бродского“ („Литературное обозрение“, No. 3, 1996, С. 23-28).
- <sup>6</sup> Иосиф Бродский, „Остаться самим собой в ситуации неестественной“. Из выступления Иосифа Бродского в Париже („Русская мысль“, 4 ноября 1988, С. 10).
- <sup>7</sup> Czeslaw Milosz, "A Struggle against Suffocation", a review of Joseph Brodsky's "A Part of Speech" ("The New York Review of Books", August 14, 1980, P. 23). Русский перевод А.Батчана и Н.Шарымовой опубликован в альманахе „Часть речи“, No. 4/5, 1983/4, С. 169-80. Пер. Льва Лосева см. „Знамя“ (No. 12, 1996, С. 150-55).
- <sup>8</sup> F.D.Reeve, "Additions and Losses", comment on "Selected Poems" by Joseph Brodsky ("Poetry", October, 1975, P. 43).
- <sup>9</sup> Joseph Brodsky, "On Richard Wilbur" ("The American Poetry Review", January/February 1973, P. 52).
- <sup>10</sup> Rachel Berghash, "An Interview with Czeslaw Milosz" ("Partisan Review", No. 2, 1988, P. 257).
- <sup>11</sup> Anna Husarska, "A Talk with Joseph Brodsky" ("The New Leader", December 14, 1987, P. 9).
- <sup>12</sup> Иосиф Бродский, „Европейский воздух над Россией“, интервью Анни Эпельбуан („Странник“, No. 1, 1991, С. 42).
- <sup>13</sup> Чеслав Милош, „Поэтический трактат“, пер. с польского Натальи Горбаневской (Argdis: Ann Arbor, 1982).
- <sup>14</sup> Чеслав Милош, „Поэтический трактат“, Ibid., С. 24.
- <sup>15</sup> Czeslaw Milosz, "Preparation", in: "The Collected Poems 1931-1987" (Penguin Books, 1988), P. 418. Русский перевод А.Драгомощенко см. „Приготовление“ в кн. Чеслав Милош, „'Так мало' и другие стихотворения“ (М., 1993), С. 171.
- <sup>16</sup> Чеслав Милош, „Борьба с удушьем“, Ibid., С. 178-79.
- <sup>17</sup> Имеется в виду работа Льва Шестова „Добро и зло в учении гр. Толстого и Ф.Нитше (философия и проповедь)“ (УМСА-Press: Paris, 1971).
- <sup>18</sup> Чеслав Милош, „Над переводом Книги Иова“ („Континент“, No. 29, 1981), С. 263.
- <sup>19</sup> Записи лекций и семинаров Иосифа Бродского по сравнительной поэзии. Ann Arbor, Michigan, 2 апреля 1980 года.
- <sup>20</sup> Клеменс Поженцкий, „Увенчание несломленной России“ („Русская мысль“, 25 декабря 1987, „Литературное приложение“ No. 5, С. II).
- <sup>21</sup> Czeslaw Milosz, "On Pasternak Soberly" [1970] ("World Literature Today", Spring 1989, Vol. 63, No. 2, P. 218).
- <sup>22</sup> Чеслав Милош, „Борьба с удушьем“, Ibid., С. 173.
- <sup>23</sup> Josif Brodski, "82 wiersze i poematy" („Zeszytow Literackich“: Paris, 1988).
- <sup>24</sup> Czeslaw Milosz, "The Collected Poems", Ibid., P. 189.
- <sup>25</sup> Чеслав Милош, „Борьба с удушьем“, Ibid., С. 172.
- <sup>26</sup> Joseph Brodsky, "Beyond Consolation", a review of N. Mandelstam, "Hope

Abandoned" and three translations of Mandelstam's poetry ("The New York Review of Books", February 7, 1974, P. 14).

<sup>27</sup> Joseph Brodsky, "Virgil: Older than Christianity. A Poet for the New Age" ("Vogue", October 1981, P. 178).

<sup>28</sup> Joseph Brodsky, interviewed by Sven Birkerts, "Art of Poetry XXVII: Joseph Brodsky" ("Paris Review", No. 24, Spring 1982, P.111). Русский пер. интервью Свену Биркертсу см. „Иосиф Бродский. Незданное в России" („Звезда", No. 1, 1997, С. 80-98).

<sup>29</sup> „Быть может, самое святое, что у нас есть — это наш язык...", Интервью Натальи Горбаневской с Иосифом Бродским („Русская мысль", 3 февраля 1983, С. 8).

<sup>30</sup> „Быть может, самое святое, что у нас есть — это наш язык...", Ibid., С. 9.

<sup>31</sup> См. примечание 5 к интервью с Роем Фишером в настоящем издании.

<sup>32</sup> Чеслав Милош, „Особая тетрадь: звезда Полюнь", перевод с польского Н. Горбаневской („Континент", No. 27, 1981, С. 9).

<sup>33</sup> Чеслав Милош, „Над переводом Книги Иова", Ibid., С. 262.

<sup>34</sup> Белла Езерская, „Если хочешь понять поэта...", интервью с Иосифом Бродским, „Мастера" (Hermitage: Tenaflly, N.J., 1982), С. 108.

<sup>35</sup> Joseph Brodsky, "Language as Otherland", лекция, прочитанная в Лондонском университете (SSEES) 28 ноября 1977 года; цитируется по магнитофонной записи.

<sup>36</sup> Чеслав Милош, „Поэтический трактат", Ibid., С. 12.

<sup>37</sup> Чеслав Милош, „Стихотворения", переводы Иосифа Бродского, литературный сборник "Russica-81" (Russica Publishers: New York, 1982, С. 16). В России переводы стихов Милоша, выполненные Бродским, опубликованы в кн. Иосиф Бродский, „Бог сохраняет все" („Миф": М., 1992, С. 195-203). Вошли в „Сочинения Иосифа Бродского" [III:293-300].

<sup>38</sup> Из записей лекций Бродского по сравнительной поэзии, Ibid.

<sup>39</sup> Czeslaw Milosz, "The Collected Poems", Ibid., P. 239.

<sup>40</sup> Чеслав Милош, „Элегия Н.Н.", перевод Иосифа Бродского („Новый американец", 9-14 октября 1980, С. 7; см. также Иосиф Бродский, „Бог сохраняет все", Ibid., С. 195-96 и [III: 291-92].

<sup>41</sup> Из записей лекций Бродского по сравнительной поэзии, Ibid.

<sup>42</sup> Чеслав Милош, „Борьба с удушьем", Ibid., С. 171.

<sup>43</sup> Чеслав Милош, „Борьба с удушьем", Ibid., С. 169.

<sup>44</sup> Rachel Berghash, "An Interview with Czeslaw Milosz", Ibid, P. 260.

<sup>45</sup> Семь стихотворений Милоша в переводе Андрея Базилевского опубликованы в „Специальном приложении" к „Русской мысли" (25 мая 1990), С. IV.